

Михаил Салтыков-Щедрин

Новаторы особого рода



Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин

Новаторы особого рода

Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3133375

Аннотация

Салтыков считал появление и успех романов типа «Жертвы вечерней» Боборыкина или «Бродящих сил» Авенариуса прискорбным знамением времени. Эти произведения, вместе с романом М. Стебницкого (Н. С. Лескова) «Некуда» и его же повестью «Воительница», Салтыков отнес к «клубничной литературе», пользующейся особым успехом и процветающей в эпохи общественных кризисов и упадка идейных интересов. В такие эпохи особую силу получает «секта клубницистов», то есть «пустых и ничтожных людей», поглощенных животнo-низменными интересами («безделицей»), чуждых всякой идейности. Салтыков считает не только возможным, но и необходимым изображение «умственного и нравственного хлама человека», в том числе и «безделицы», но лишь в качестве продукта всей системы общественных отношений. В произведениях же «клубничной литературы», в том числе и в романе Боборыкина, «безделица» – «этот гнуснейший из всех современных общественных хламов» – становится предметом изображения сама по себе, «просто как хлам», а не как «признак известного общественного строя». Между тем следовало

бы показать ее связь с «умирающим мирозерцанием»,
выяснить причины ее «исторической устойчивости». Именно так
мыслил свою задачу сатирика, летописца общественных нравов
Салтыков.

Содержание

Примечания
Комментарии

26

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин Новаторы особого рода

*НОВАТОРЫ ОСОБОГО РОДА. Жертва вечерняя.
Роман в двух книгах и четырех частях П.
Боборыкина («Всемирный труд», 1868 г.)*

Могут ли представлять для литературы достаточный интерес биографии пустых и ничтожных людей? Вопрос этот разрешается нашей современною беллетристикою весьма разнообразно; должно, однако ж, сознаться, что в последнее время в ней заметна была склонность разрешить его скорее в отрицательном, нежели в утвердительном смысле.^[1]

Как ни переворачивайте умственный и нравственный хлам человека, все же это будет не более как хлам, то есть явление простое и малосодержательное. Исследуя его, анализ слишком скоро истощается и приходит к своему последнему слову; искусство, воспроизводящее жизнь, также не находит в нем достаточного материала для объяснения разнообразия жизненных положений. Есть такие положения, в которых присутствие ничтожества даже немыслимо, и именно те положения, которые представляют собою наиболее плодотворную сторону человеческой деятельности. Не лучше ли же оставить в стороне и предать забвению это бесполезное

ничтожество, тем более что на изучение его и без того потрачено не мало труда и времени?

Несмотря на абсолютную верность этого взгляда, мы думаем, однако ж, что в нем есть весьма важная недомолвка, а именно: в нем упущено из вида то влияние, которое оказывает на жизнь общества присутствие в нем всякого рода праздных, скучающих, исковерканных и пораженных язвою мельчайшего самолюбия людей. Сам по себе взятый, хлам, конечно, не больше как хлам, но замечательна его историческая устойчивость, важно то, что нельзя сделать шагу в жизни, чтобы не запутаться в нем или, по крайней мере, не почувствовать его под ногами. Все это заставляет думать, что мир ничтожества стремлений, пошлости идеалов и распущенности мысли далеко не упразднен окончательно. Все, что можно допустить в этом смысле, – это то, что он постепенно разлагается и утрачивает ту кажущуюся творческую силу, которую он некогда выставлял вперед, как оправдание своего бытия; но отрицательное влияние его на успехи общества все еще громадно и даже едва ли не увеличивается в той же мере, в какой уменьшается влияние положительное.

Если мы примем на себя труд определить главные жизненные принципы, выработанные этим умирающим мирозерцанием, то легко убедимся, что все они вращаются около самого ограниченного числа представлений, между которыми едва ли не самую видную роль играют: необузданность воли, стремление подавить сознательную работу мысли, трудобо-

язнь и, наконец... клубника во всех видах и формах, как отдохновение от подвигов по части необузданности. Конечно, с таким запасом нельзя рассчитывать на многое в смысле положительном и творческом, но можно и даже очень можно воспользоваться им, как метательным орудием, весьма пригодным для затруднения общественного хода. Мало сознавать, что истина и право, в окончательном результате, всегда торжествуют; не надо упускать из вида, что за правом и истиной стоят живые люди, которые могут страдать и погибать, и что самый мир истины и права есть мир нарождающийся и потому окруженный обстановкою настолько колеблющеюся, что она еще слишком мало ограждает его от притязаний своеволия и необузданности.

Сопоставить эти два мира, показать их взаимное друг на друга давление – это задача не только не лишняя, но и поучительная. Почему пошлость и необузданность всегда и неизменно торжествуют? почему, за всем тем, это торжество только кажущееся, выражающееся исключительно во внешних результатах? Почему сознательное искание истины и права всегда и неизменно затрудняется? почему, за всем тем, оно столь же неизменно торжествует? Все это такие вопросы, уяснение которых далеко не может быть безынтересным для общества. Самая борьба, которая неминуемо возникает из этого сопоставления, представляет такой животрепещущий материал, из которого сама собою зиждется драма со всеми ее потрясающими и воспитывающими поучениями.

В этом смысле, несомненно, нет того нищего духом нахала, который не был бы достоин изучения, нет такого страдающего разжижением спинного мозга эстетика-клубнициста, которого изображение можно было бы счесть излишним. Все они не только существуют, но и торжествуют и, следовательно, имеют полное право удерживать свое место в общей картине. Не один придаток они составляют в ней, не в роли действующих лиц без речей являются они, но в роли героев, защищающих право, признанное преданием. Трагическая судьба этих сторонников отжившего предания и бессознательности столь же несомненна, как и таковая ж судьба тех, которые борются с бессознательностью; она только менее бросается в глаза. Если последние гибнут непосредственно под грубыми, почти механическими ударами судьбы,^[2] то первые погибают путями более косвенными: они гибнут в своих детях,^[3] гибнут жертвою той горькой очевидности, что сколько они ни употребляли усилий для защиты своих пенатов, все-таки, в их глазах, в их собственные святилища успели проникнуть и водвориться иные пенаты.

Предмет романа, сочиненного г. Боборыкиным, составляет именно тот хлам, о котором мы сейчас говорили. Но мы сомневаемся, чтобы он руководился высказанными нами соображениями относительно значения этого материала; напротив того, нам кажется, что он взглянул на хлам совсем не так, как на признак известного общественного строя, а просто как на хлам, и в этом качестве нашел его достойным

изучения. Сверх того, из всего ныне действующего хлама он признал наиболее любопытным тот, который, по-видимому, всего меньше дает материала для каких бы то ни было выводов, а именно: нимфоманию и приапизм.

Прежде всего, будем справедливы: г. Боборыкин исполнил свою задачу, по мере возможности, довольно удовлетворительно, и роман его читается очень легко. Есть известные рутинные приемы, несоблюдение которых делает чтение некоторых беллетристических произведений (особенно начинающих писателей) чрезвычайно затруднительным. Таковы, например: самоповторение, излишество подробностей, несоразмерность частей, желание остановить внимание читателя на известных взглядах и мыслях, облюбованных автором, и т. д. Всех этих недостатков г. Боборыкин избежал весьма счастливо. Роман его проглатывается почти мгновенно, сколько благодаря своему веселому содержанию, столько же благодаря и тому, что он не представляет совершенно никаких преткновений для мысли. Автор не повторяется, потому что ему нечего повторять; он избегает несоразмерности частей, потому что там, где, в строгом смысле, нет целого, не может быть и частей; он не допускает излишества в подробностях, потому что в вопросе о нимфомании чем больше подробностей, тем удобнее делается он для проглатывания; наконец, он не навязывает насильно читателю никаких взглядов, потому что какие же могут быть взгляды, когда весь интерес романа рассчитан на то, чтобы помутить

в читателе рассудок и возбудить в нем ощущение пола? Повторяем: всю эту рутину автор овладел вполне; роман его не тяготит, не ломает рук и может читаться и страница за страницей, и через страницу, и с начала до конца, и с конца до начала, во всяком месте, во всякое время, лишь бы нечего было делать другого. Действие будет наверное всегда одинаковое, ибо, что в нем всего драгоценнее – это та чрезвычайная определенность и ясность слога, та завидная прозрачность мысли, до которой можно возвыситься только при совершенно тщательном изучении и даже, так сказать, самоотжествлении того беспокровного мира, в котором властвует петербургская лоретка под благосклонною своего божка Приапа.

Роман написан в форме дневника молодой вдовы. Она дебютирует тем, что вспоминает о покойном своем муже, и первое, на чем останавливается ее мысль, – это его ласки. «Не знаю, пишет она, говорил ли он мне что-нибудь про себя, когда ухаживал. Все, кажется, больше поводил зрачками. Я сейчас же *всем своим телом* поняла, что это такое значит, когда мужчина *так* на вас смотрит... Он был такой неистовый в своих ласках, *так все и кидался*». Затем, она рассуждает о том, как глупо, что русские женщины делаются матерями «оттого только, что гвардейскому адъютанту понравились их перси». «Я думаю даже, прибавляет она, что если бы этих самых «персей» у женщин не было, мужчины были бы гораздо умнее». Рядом с этими игриво-философскими мыс-

лями идут воспоминания о канкане, сравнение русского канкана с французским, причем отдается решительное предпочтение последнему.

Таким образом, с первого же раза вы видите перед собой женщину, которой образ мыслей установился вполне и которая в нравственном отношении совершенно *созрела*. Эта женщина не только *всем своим телом* понимает безделицу, но даже любит посмаковать ее, любит порассказать об ней себе самой. Вам делается любопытно знать, какой будет роман этой женщины: поведет ли ее автор по каким-нибудь мытарствам или же сразу водворит в доме терпимости и там бросит.

Молодая вдова принадлежит к числу тех обыкновенных русских досужих женщин, у которых с ранней молодости все помыслы направлены к «срыванию цветов удовольствия». Конечно, мы не имеем повода отвергать, что такого рода барыни, по большей части, предаются этому занятию до самозабвения, но тем не менее, ежели бы мы сказали, что в этом усердном служении участвует хоть капля сознательности, то, конечно, сочли бы себя виновными в преувеличении. По нашему мнению, при обыкновенном ходе вещей телесный разврат есть результат праздности, распущенности и темперамента – и ничего больше. С этой точки зрения, героиня романа г. Боборыкина составляет исключение даже в ряду самых рьяных пропагандисток учения о безделице; она не только ощущает, но мыслит себя как идолопоклонницу

Приапа, а между этими двумя формами бытия, по крайней мере, такая же разница, как между простою кражей и кражей со взломом. К сожалению, г. Боборыкин не показывает нам, каким образом его молодая вдова дошла до этого взлома; он просто представляет ее уж достигшею того состояния «приятной женщины», когда канкан делается звездою-руководительницею всех человеческих действий и единственною духовною пищею, которая принимается без отвращения.

После очень прозрачного описания, как молодая вдова застала свою приятельницу Софи на коленях у «обезьяны в Преображенском мундире» и как они, при входе ее, «разлетелись в разные стороны», автор сводит свою героиню с некоторым синим чулком в лице г-жи Плавиковой, и тут она встречается с какою-то литературною «celebrite»¹ по фамилии Домбрович. Эта *celebrite* – такая слизистая гадина, до которой нельзя дотронуться, чтобы не почувствовать потребности обтереться. Но на гадину – гадина, и гадина более гадкая, как и всегда, побеждает и поглощает менее гадкую. Увы! в мире мерзостей тоже имеются своего рода неотразимые силы, в которые мерзости менее сильные впадают, как небольшие реки в многоводный океан.

Г-н Боборыкин не дает подробных известий, к какой именно школе следует причислить его литературную *celebrite*, Домбровича, но не скрывает, что он принадлежит к породе «эстетиков». Этих эстетиков мы довольно хорошо

¹ знаменитость

знаем, они толпами шатаются между первым и пятым часами по Невскому и походя изнывают при виде прогуливающихся кокоток. Это те самые чистокровные шалопаи, которые на изображение мадонны не могут взирать, чтобы не припомнить при этом «L'oiseau envole»², которые не могут видеть красивой женщины без слюнотечения.

Судя по признаниям Домбровича, его религия – искусство; но слова иногда захватывают более своего действительного значения. В сущности, религию Домбровича составляет не искусство, а безделица, которая до того помutilа его голову, что не оставила в ней даже самого маленького местечка для здравого смысла. «Мы никаким вопросам не сочувствуем, переплетных заведений не заводим... мы не мудрствовали, не разрушали основ... мы обожали искусство... я ничего не понимаю во всех этих реализмах, социализмах, нигилизмах», – так говорит о себе этот пламенный обожатель безделицы. Эти неистово-бессмысленные слова, конечно, ни о чем более не свидетельствовали и не могут свидетельствовать, как о высшей степени разжижения спинного мозга у производившего их субъекта, но за всем тем они оказались достаточными, чтобы пробудить в молодой вдове то чувственное вожделение, которое, со смерти мужа, было разлито в ее организме в скрытом состоянии. На поверку вышло, что даже это непроходимое самохвальство тупоумием и пошлостью все-таки составляло шаг вперед в сравнении с тем «поважи-

² Женщина легкого поведения (буквально: улетевшая птичка)

ванием зрачками», которым потчевал ее покойный муж.

Решительный шаг, или падение героини, совершается просто. В одну из своих прогулок по петербургским улицам вдова внезапно чувствует болезненный припадок; попадает под руку Домбрович и увлекает ее к себе на квартиру. Является завтрак, шампанское. Домбрович показывает вдове на образцы голов и торсов и говорит, что природа лепила ее с них. Потом начинаются поцелуи, объятия; шампанское и чувственный разговор делают свое дело неотразимо. Но предоставим слово самому автору.

«Я пала... но пала против своей воли!.. Да, тысячу раз да! Теперь говорю самой себе. Мне не перед кем ни оправдываться, ни стыдиться. Я защищалась, как могла. Правда, можно было кричать; но я себя не помнила. Это был припадок сначала нервной веселости, потом изнеможения. Он это видел, он это знал лучше меня...

Нет таких слов высказать, что чувствует женщина, когда с ней поступят, как с вещью! Кто дал нам такую проклятую натуру? И это делается среди белого дня... Тонкий, цивилизованный человек поступает с нами, как с падшею женщиною.

Когда я очнулась, если бы тут был ножик, если бы тут было что-нибудь, я бы зарезалась, удавилась. Я как была на кушетке, так и замерла. Этакого ужаса, этакого омерзения я и вообразить себе не могла! Господь бог приготовил нам особые приятности! Мне кажется, если бы рыдания не хлыну-

ли целой волной, я бы задохнулась. Но чем сильнее я плакала, тем ядовитее, тем горче делался мой позор... Все обиды, какие только злодей может выдумать, ничего в сравнении с этой... И как легко обойтись с женщиной galamment!³ Просто выбрать получше минуту, схватить ее покрепче и «сорвать цветы удовольствия». О-о! теперь я понимаю, что значит эта адская фраза. Вот они, эти умники. Вот как они обожают красоту!.. Батюшки мои! Что бы мне совершить с этим мерзавцем?..»

Вот к какому неожиданному результату приводит иногда так называемый обмен мыслей. Позволительно, однако ж, сомневаться в искренности негодования, выражаемого веселюю барыней по поводу претерпенного ею поражения. Она слишком усердно штудировала учение о безделице, чтобы ближайшее применение его могло заставить ее врасплох; она получила слишком всестороннее в этом смысле образование, чтобы не понять, что приглашение Домбровича посетить его квартиру не могло иметь иных последствий, кроме описанных выше.

И действительно, очень скоро стихает это напускное негодование, и вдова вновь возвращается к спокойному созерцанию клубники. Посетивши через месяц (после многих увеселительных сеансов у себя на дому) квартиру Домбровича, она уже отмечает в своем журнале: «увидала я кушетку, и расхохоталась, как я на нее злобствовала; все мне в этом ка-

³ галантно

бинете было нечто свое, родное». С своей стороны и Домбрович не теряет золотого времени; он постепенно развивает эстетические наклонности своей пациентки, давая ей читать «Liaisons dangereuses», «Mon poviciat» и других классиков.^[4] От этого назидательного чтения следует быстрый переход к *Soupers a la regence*^[5] или попросту к афинским вечерам; затем – полная анархия плоти.

Тут, по всей вероятности, следовало бы автору остановиться. Описанием вечеров, в которых каждая из участвующих пар («un chacun avec une chacune», «моншер с машерью», как выражается Домбрович) применяет на практике теорию житья «в свое удовольствие» тем, что, потрудившись на поприще канкана, удаляется для отдыха в отдельную комнату, он вполне достигнет тех самых результатов, которые достигаются и пресловутыми «Liaisons dangereuses»; но ему показалось этого мало. Разоблачив перед нами клубнику, он предпринял труд познакомить нас с клубникою, так сказать, трансцендентальною.

Из области афинских вечеров молодую вдову освобождает некто Степа, товарищ ее детства. Он приезжает из-за границы и узнает о подвигах своей подруги от горничной Ариши, которая не раз видела свою барыню возвращающуюся с вечеров в пьяном виде. Автор рекомендует читателю этого Степу, как человека, от рождения осужденного сидеть между двумя стульями. Он не принадлежит ни к поколению сороковых годов, ни к поколению шестидесятых годов. Он

сам по себе, одною собственной персоной составляет целое поколение, которое можно безошибочно назвать *поколением азов*, так как он ни о чем так охотно не говорит, как о необходимости самовозрождения посредством *азов*. Чтоб утвердить в этой мысли свою приятельницу, он подвергает ее опыту довольно интересному. Оказывается, что в Петербурге существует какое-то общество, которое имеет целью нравственное возрождение так называемых жертв общественного темперамента. Легкомысленные афинянки, составляющие это общество, убеждены, что этого «возрождения» можно достигнуть, нимало не касаясь общественного строя, одним пересказыванием своими словами некоторых более или менее интересных азбучных истин. Туда-то именно и направляет героиню романа новый человек Степа.

Начинается бездонное дилетантское пустословие с какою-то Лизаветой Петровной, специалисткой по части падших женщин, о силе любви, о чудесах, ею производимых, о том, что все люди братья и что дух погибнуть не может. Разговоры перемежаются посещениями приютов терпимости, в которых Лизавета Петровна совершает свои подвиги и которые, по этому случаю, описываются довольно обстоятельно. Каким образом эта несчастная женщина может надеяться достигнуть каких-нибудь результатов от своей пустопорожней болтовни – понять совершенно невозможно. Она не только ничего не *делает* путного в продолжение всей третьей части, но даже и говорит только пустяки, одни пустяки. Любая из

«падших» заткнет ее за пояс здравостью своего смысла, любая из них может ей доказать всю бессмысленность и ненужность ее празддно-мистического переливания из пустого в порожнее, – но она не остановится перед этим, она все будет продолжать растравлять своим наглым прикосновением чужие, и без того наболевшие, раны, все будет приставать со своим: «Брось! я тебя поцелую за это!»

Наконец даже молодая вдова поняла, в какой степени это занятие нагло, безобразно и нестерпимо.

Мы не станем утверждать, что этот опыт вторжения героини романа в область нравственного возрождения падших женщин допущен автором в видах ознакомления публики с обычаями и обстановкою домов терпимости (описание одного из них, аристократического, сделано очень удачно); допустим даже, что он задуман не автором, а собственно Степою с коварною целью доставить торжество теории азов. Что же это за теория такая?

Разъяснение ее принимает на себя сам представитель и изобретатель ее, Степа. Будучи поставлен вопросом своей подруги: кто он такой и не нигилист ли? – в необходимость объясниться, он вполне разоблачает перед нею свои верования. И он был литератором; и он обличал и будил общество; и он писал по печатному листу в день. И вдруг, после довольно продолжительной будительной деятельности, убедился в одном: что он знает только то, что он ничего не знает. Мало того: он убедился даже, что не умеет *целесообразно* гово-

ритель, что он уподобляется в этом отношении тому злосчастному французскому актеру, который, имея сказать в пьесе всего одну фразу: «e'en est fait, il est mort»⁴, произнес: «e'en est mort, il est fait»⁵. Тогда им овладела лихорадочная страсть к грамматике и арифметике, для удовлетворения которой он отправился за границу и там устроил для себя свое собственное, так сказать внутреннее, училище *азов*. В минуту появления его на сцену он, с трудом перетащившись во второй класс этого училища, прибыл в отечество с тем, чтобы, «еще поучившись, поездивши и поживши с разным людом, учить детей говорить».

Мы знаем, что есть грамматические исследования очень почтенные, и вовсе не имеем намерения издеваться над тем, что человек, по каким бы то ни было причинам, решился посвятить себя этого рода специальности. Мы не понимаем только одного: каким образом занятие грамматикой и арифметикой может сделаться типическою чертою какого бы то ни было поколения? Между тем Степа утверждает, что это так и что грамматическая лихорадка может не только характеризовать деятельность целого поколения, но, по временам, делается до того сильною, что оказывает решительное влияние даже на такие жизненные вопросы, как, например, отношение мужчины к женщине.

Как ни воспламенила молодую вдову теория Степиных

⁴ все кончено, он умер

⁵ Перестановка слов, обесмысливающая фразу

азов, все-таки теория Домбровича о срывании цветов удовольствия не настолько уже утратила своей силы, чтобы оставить ее спокойною зрительницей самодовольно развивающейся перед нею грамматической лихорадки. И вот она начинает слегка экзаменовать познания своего друга по части клубнички.

Оказывается, что он в этом деле чистейший профан и что грамматика убила в нем всякую возможность мечтать о любовных радостях. «Где мне мечтать о любовных радостях и о семейном довольстве, когда мне еще *несколько лет* (?) надо пошататься по белу свету, а потом сделать *всех* детей моими собственными, – говорит этот новый Зенон *азов* и потом прибавляет: – Наша беда, по части любви, вышла от того, что мы очутились между двумя поколениями: люди сороковых годов были специалисты по части клубнички; люди шестидесятых годов будут делать дело и *вовремя* соединять его с личным довольством». «Бедный Степа! что же тебе остается по части амуров?» – восклицает легкомысленная вдова, не выдерживая тяжести *азов*. «Что же остается, Машенька? По части греховных побуждений остается то, что и каждый холостой человек находит»...

Эта грамматическая непреклонность, это скромное сознание в неумении предаваться *вовремя* «любовным радостям» приводят нас в умиление. Это геркулесовы столпы той теории *азов*, для изучения которой, по мнению Степы, необходимо посвятить, по крайней мере, сорок лет человеческой

жизни. «Но ведь это гадко, Степа?» – замечает молодая вдова. «Некрасиво, мой друг!» – возражает ее собеседник и вдруг, по какому-то вдохновению, предлагает ей выбрать, не касаясь его, другой объект, у которого «есть чем любить». – «Дурак!» – отвечает ему героиня романа.

Наконец, в лице Кроткова, является этот объект, у которого есть чем любить. Это совсем уже *новый* человек и сидит на своем стуле твердо, то есть смотрит в глаза прямо и провещевает самые обыденные речи, как будто бы в них заключался глубочайший смысл. Он говорит только то, что нужно сказать, не любит слова «принцип» и остроумно издевается над «эманципацией женщин»; он не прочь и привязаться к женщине, но не просто привязаться, а тогда, когда эта привязанность *нужна*. И вот этот осколок египетского сфинкса учащает свои визиты к молодой вдове, волнует ее воображение до того, что она задыхается, и, наконец, начинает даже сам чувствовать, как его сфинксово существо начинает смягчаться, смягчаться... Но тут – о, ужас! – героиня романа убеждается, что Домбрович и афинские вечера сделали свое разрушительное дело слишком успешно и что ей более нечем любить! Убедившись в этом, она отравляется, заканчивая свой журнал словами Гамлета:

T'is a consummation
Devoutly to be wished!⁶

⁶ Вот исход многожеланный!

Вот краткое, но правдивое изложение содержания нового романа г. Боборыкина. Мы сделали только одну, и притом небольшую, выписку из него и должны сознаться, что ограничили этим единственно по чувству приличия. Удостоверяем, впрочем, читателя, что в романе есть очень много таких мест, которые, специальностью своего содержания, не только не уступают, но далеко превосходят приведенное нами описание падения этой, так сказать, от рождения павшей героини клубничизма.

Попытка узаконить в нашей литературе элемент «срывания цветов удовольствия» не нова и ведет свое начало от Баркова.

Сочинения этого достойного писателя, впрочем, для публики неизвестны, хотя мы положительно не понимаем, какое может быть препятствие к обнародованию их после обнародования «Жертвы вечерней». Затем, традиция плотского цинизма хотя и не прерывалась, но проявлениям ее все-таки не удалось сделаться общим достоянием по причине их крайней наготы. В последнее время она начинает мало-помалу вторгаться в литературу под видом учения о милой бездельце, и мы можем указать на гг. Стебницкого и Авенариуса, как на ревностнейших пропагандистов этого учения. За ними последовал г. Боборыкин и сразу подарил публику таким трактатом, с которым ничего доселе написанное по этой части сравниться не может.

Нам возразят, быть может, что г. Боборыкин не может быть сравнен ни с г. Стебницким, ни с г. Авенариусом; что эти последние изображали «срывание цветов удовольствия» совершенно наивно, потому что им по сердцу был самый этот сюжет; что г. Боборыкин, напротив того, хочет быть моралистом, что он прямо указывает на ту бездну, к которой может вести слишком радикальное поклонение безделице, и что, наконец, он в то же время показывает нам и обратную сторону медали, а именно в лице Степы предъявляет образец ненависти к клубничке, а в лице Кроткова – образец ее умеренного и своевременного употребления. Мы, однако же, не можем согласиться с этими доводами по той очень простой и совершенно законной причине, что как Степа, так и Кротков до такой степени лишены всякой жизненности и занимают в романе относительно столь ничтожное место, что представляются нам не более как авторскими приемами, употребленными с целью, чтобы яснее показать, в каком отношении может быть учение о безделице, в первом случае – к непреклонному пропагандисту теории азотов, во втором – к простому осколку египетского обелиска. Действительно живыми лицами можно назвать только героиню романа и Домбровича. Только они одни знают наверное, чего хотят, только они одни не допускают сомнений насчет своих намерений и действий. Как ни старается автор уверить читателя в нравственном возрождении своей героини, кончившемся ее трагической смертью, – читатель даже в этой смерти не может

видеть ничего другого, кроме крайнего выражения учения о срывании цветов удовольствия. Ведь находили же фанатики разных сект удовольствие в том, что сожигали себя; отчего же подобного явления не допустить и для фанатиков секты клубницизма. Это сектаторское «всладце уязви мя» – и более ничего.

Повторяем, автор задался целью очень непохвальной: он хотел перенести на русскую почву «*Liaisons dangereuses*» и возбудить в нашей публике вкус к подобным произведениям. На этот гнуснейший из всех современных общественных хламов он взглянул даже не как на материал, могущий, в связи с другими материалами, служить для характеристики общества в данный момент; нет, он увидел в нем нечто достолюбезное, обладающее способностью привлекать и притягивать своим собственным содержанием. Быть может, попытка его и будет иметь успех, но, во всяком случае, этот успех можно и должно назвать прискорбным.

Еще одно слово: г. Боборыкин относит своего литератора Домбровича к числу эстетиков сороковых годов. Мы не возражаем против того, что в сороковых годах могли быть и даже были эстетики-литераторы вроде Домбровича, но утверждаем, что в то время не могли появиться, а ежели бы даже и могли, то не имели бы успеха, произведения, подобные «Жертве вечерней». Ведь это тоже своего рода успех, заставляющий задуматься. Не идут ли в нашем отечестве эстетические наклонности, подобные изображенным г. Боборыки-

ным, все более и более развиваясь? Можно ли назвать в настоящее время человека, подобного Домбровичу, исключением, как это было в сороковых годах, и не есть ли это, напротив того, в нашей богатой досужеством и эстетически цивилизованной среде явление до того уже обыденное, что оно нимало даже не считает нужным маскировать свои эстетические поползновения?

Примечания

Условные сокращения

Изд. 1933–1941 – Н. Щедрин (М. Е. Салтыков). Полное собрание сочинений в 20-ти томах, М. – Л. 1933–1941.

ЛН – «Литературное наследство».

Неизвестные страницы – М. Е. Салтыков-Щедрин. Неизвестные страницы. Редакция, предисловие и комментарии С. Борщевского, М. – Л. 1931.

Письма, 1924 – М. Е. Салтыков-Щедрин, Письма. 1845–1889. Под ред. Н. В. Яковлева. Л. 1924.

ОЗ – «Отечественные записки».

С – «Современник».

ИРЛИ – Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский дом), Отдел рукописей.

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства.

Z. f. sl. Ph. – «Zeitschrift für slavische Philologie». Hsg. von Dr. Max Vasmer. B. IV, Doppelheft 1–2. Leipzig, 1927.

Впервые – *ОЗ*. 1868, № 11, отд. «Совр. обозрение», стр. 33–44 (вып. в свет – 11 ноября). Без подписи. Как статья Сал-

тыкова, но без аргументации, зарегистрирована в указателях С. А. Венгерова («Критико-биографический словарь писателей и ученых», т. IV, 1895, стр. 192 и 207).

А. В. Мезьер («Русская словесность с XI по XIX столетие включительно», ч. II, 1902, стр. 25) и в комментариях Н. В. Яковлева (*Письма*, 1924, стр. 61). Подтверждено на основании сравнительного текстового анализа С. С. Борщевским (*изд. 1933–1941*, т. 8, стр. 477–480) и, документально, опубликованным С. А. Макашиным фрагментом из рукописи воспоминаний П. Д. Боборыкина «За полвека», где сказано: «...в 1868 году там <в «Отеч. записках»> была напечатана анонимная рецензия на мою «Жертву вечернюю» (автор был Салтыков)...» (*ЛН*, т. 51–52, М. 1949, стр. 132).

Роман П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя», которому посвящена статья «Новаторы особого рода», был напечатан в 1868 г. в журнале «Всемирный труд», том самом журнале, где годом ранее появилась повесть В. П. Авенариуса «Поветрие» – первая часть романа «Бродящие силы».

Салтыков считал появление и успех романов типа «Жертвы вечерней» Боборыкина или «Бродящих сил» Авенариуса прискорбным знамением времени. Эти произведения, вместе с романом М. Стебницкого (Н. С. Лескова) «Некуда» и его же повестью «Воительница», Салтыков отнес к «клубничной литературе»⁷, пользующейся особым успехом и про-

⁷ Сатирическое понятие «клубника» (слово гоголевского Ноздрева) Салтыков впервые употребил в «Нашей общественной жизни» (см. т. 6 наст. изд., стр. 16)

цветающей в эпохи общественных кризисов и упадка идейных интересов⁸.

В такие эпохи особую силу получает «секта клубничистов», то есть «пустых и ничтожных людей», поглощенных животными-низменными интересами («безделицей»), чуждых всякой идейности.

Салтыков считает не только возможным, но и необходимым изображение «умственного и нравственного хлама человека», в том числе и «безделицы», но лишь в качестве продукта всей системы общественных отношений. В произведениях же «клубничной литературы», в том числе и в романе Боборыкина, «безделица» – «этот гнуснейший из всех современных общественных хламов» – становится предметом изображения сама по себе, «просто как хлам», а не как «признак известного общественного строя». Между тем следовало бы показать ее связь с «умирающим мирозерцанием», выяснить причины ее «исторической устойчивости». Именно так мыслил свою задачу сатирика, летописца общественных нравов Салтыков. Поэтому, например, он не ограничился лишь публицистической характеристикой типа «барыни – идолопоклонницы Приапа» в своей статье о романе Боборыкина. Этот тип Салтыков разработал в сатирическом образе «куколки», появляющемся впервые в «Господах ташкентцах» (вдова Ольга Сергеевна Персианова – «Ташкентцы при-

⁸ См. далее рецензию на «Бродящие силы» В. П. Авенариуса – первую рецензию Салтыкова в «Отечественных записках»

готовительного класса. Параллель первая», 1871), а затем – в «Благонамеренных речах» («Еще переписка»), «Круглом годе», «Письмах к тетеньке» (см. об этом также в комментариях С. С. Борщевского – *изд. 1933–1941*, т. 8, стр. 478).

В общую систему размышлений Салтыкова на тему об изображении современными беллетристами «нового человека» («Напрасные опасения», «Уличная философия» и др.) входят и его саркастические замечания в статье «Новаторы особого рода» о двух персонажах «Жертвы вечерней», призванных олицетворять авторскую моральную тенденцию, – «новом человеке» Степе ^[6] и «совсем уже новом человеке» Кроткове. Салтыкова возмущает идейная ограниченность и плоскость этих якобы новаторов, тоже «новаторов особого рода», в сущности же – не более как пропагандистов «теории азов». Принципиальная неприемлемость для Салтыкова этой теории заключалась в убеждении ее сторонников, будто «возрождения» (в данном частном случае речь шла о возрождении «жертв общественного темперамента») можно достигнуть, «нимало не касаясь общественного строя».

В неприятии «теории азов», по-видимому, кроме всего прочего, заключен полемический намек на одну деталь тургеневской трактовки «нового человека» в лице Базарова. Один из пунктов «нигилистической» концепции Базарова как раз в том и состоял, что «сперва надо азбуке выучиться и потом уже взяться за книгу, а мы еще аза в глаза не видали».

В отрицательной характеристике «теории азов» скрыта

также, может быть, принципиальная полемика с некоторыми положениями статьи «Письмо провинциала о задачах современной критики», напечатанной анонимно в третьей книжке «Отечественных записок» за 1868 г. ^[7] (автором ее был П. Л. Лавров ^[8]). С целью «разогнать ту тяжелую мглу, которая лежит на современной мысли», Лавров предлагал «учить с азов». «В присутствии общего индифферентизма, повальной неохоты мыслить и недоверчивой администрации по делам печати, – говорилось далее в «Письме провинциала», – надо себе определить *возможное* из требований жизни, отказаться без дальней думы от *невозможного*, отказаться от приемов и вопросов, теперь не достигающих цели, и затем смело и неуклонно, опираясь на закон, на чувство человеческого достоинства и на крепкое убеждение, идти в избранном направлении, осуществляя свою программу, борясь за прогресс, за истину, за жизнь». Возможно, что в этих тезисах Салтыков усмотрел ограничение задач передовой общественной деятельности, призыв к «возрождению посредством азов», программу узкого практицизма. Характерно, что именно в таком духе, но с положительным знаком, «Письмо провинциала» было истолковано журналом «Дело». Автор «Внутреннего обозрения» в № 12 «Дела» за 1868 г. П. Гайдебуров полностью поддержал идеи «Письма провинциала», а в салтыковских «Признаках времени» (ОЗ, 1868, № 8; впоследствии – «Литературное положение») и «Напрасных опасениях» (ОЗ, 1868, № 10) увидел иное пони-

мание задач литературы и критики, нежели в «Письме» Лаврова. Возлагая вину за состояние современной литературы на публику, Салтыков будто бы предлагал сложить руки и ждать, когда публика «поумнеет и разовьется». И далее в довольно резких выражениях П. Гайдебуров отказывал «Письмам о провинции» Салтыкова в практическом значении хотя бы потому, что «они написаны до такой степени тяжелым языком и в таких отвлеченных выражениях», что попросту непонятны.

Много лет спустя, упомянув в своих воспоминаниях, что «Жертва вечерняя» доставила ему «успех скандала», Боборыкин в то же время возражал против того толкования романа, которое дал Салтыков. «Меня поддерживало убеждение в том, – оправдывался он в книге «За полвека», – что *замысел* «Жертвы вечерней» не имел ничего общего с *порнографической* литературой, а содержал в себе *горький урок* и беспощадное изображение пустоты светской жизни, которая и доводит мою героиню до полного нравственного банкротства»⁹. Как бы предвидя такого рода возражения, Салтыков парировал их, заключив свою статью следующим утверждением: хотя Боборыкин и желает быть моралистом, носители моральной тенденции автора «лишены всякой жизненности» и занимают в романе «относительно ничтожное место».

Салтыков и в дальнейшем относился к творчеству и теоретическим (по поводу «экспериментального», натура-

⁹ П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I, М. 1965, стр. 457

листического романа) высказываниям Боборькина в общем неодобрительно, хотя несколько произведений автора «Жертвы вечерней» и было опубликовано в 70-х годах в «Отеч. записках» (в том числе уже в 1870 г. роман «Солидные добродетели»). Воспоминания Боборькина о Салтыкове см. в книге: «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», М. 1957; там же комментарий С. А. Макашина, посвященный взаимоотношениям Салтыкова и Боборькина.

Комментарии

1.

Могут ли представлять для литературы достаточный интерес биографии пустых и ничтожных людей?.. в последнее время... заметна была склонность разрешить его <этот вопрос> скорее в отрицательном, нежели в утвердительном смысле. – По-видимому, подразумевается беллетристика журнала «Дело», в частности, романы Шеллер-Михайлова (см. в наст. томе рецензию на «Засоренные дороги» и «С квартиры на квартиру» А. Михайлова).

2.

...последние гибнут непосредственно под грубыми, почти механическими ударами судьбы... – Салтыков говорит о трагической участи «борцов с бессознательностью», русских революционеров, погибавших жертвами репрессий.

3.

...первые... гибнут в своих детях – Одна из постоянных тем салтыковского творчества, впервые еще иронически намеченная в следующих словах сентябрьской за 1863 г. хроники «Нашей общественной жизни»: «Каплуны... начинают подозревать, что в собственных их недрах завелось какое-то растлевающее начало, что собственные их дети, молодые каплуны, перестали ходить к обедне, не признают властей и надругаются над священным

правом собственности» (см. т. 6 наст. изд., стр. 141–142). Этой теме были посвящены позднее рассказы «Непочтительный Коронат» («Благонамеренные речи»), «Больное место» («Сборник») и др.

4.

...Домбрович... развивает эстетические наклонности своей пациентки, давая ей читать «Liaisons dangereuses», «Mon poviciat» и других классиков – По рекомендации Домбровича героиня «Жертвы вечерней» читает роман Шодерло де Лакло «Опасные связи» (в романе Боборыкина названный «Liaisons amoureuses» – «Любовные связи»), а также предельно откровенную «Исповедь» Ж-Ж. Руссо («Les confessions de Jean Jeacques»)

5.

Soupers a la regence – оргии в Пале-Рояле, резиденции Филиппа II Орлеанского – регента Франции при малолетнем Людовике XV (1715–1723).

6.

«Я не говорю, что этот Степа – сам автор, – писал впоследствии Боборыкин. – Но тогда я мог бы точно так же и то же говорить на тему о проституции. Это все – наблюдения, доставленные мне в первую же мою зиму в Париже» (П. Д. Боборыкин. Воспоминания, т. I, М. 1965, стр. 458).

7.

Редакция «Отечественных записок», выразив в примечании свое согласие с основными принципами «Письма провинциала», указала, что не разделяет его взгляда на «разные частные явления нашей журналистики».

8.

См. Ф. Витязев. Анонимная статья «О задачах современной критики» как материал по методологии современной эвристики. – «Звенья», т. VI, М – Л. 1936.